

# Генезис спорта как социологическая проблема

## I

Многие виды спорта, которые сегодня существуют в более или менее схожих формах и популярны во всем мире, возникли в Англии.<sup>1</sup> Оттуда, главным образом во второй половине XIX – первой половине XX столетий, они распространились в другие страны. Одним из них был футбол, который в Англии был известен как «Футбольная Ассоциация» или, сокращенно, *soccer*. Другими были скачки, борьба, бокс, теннис, охота на лис, гребля, крокет и легкая атлетика. Но кроме футбола ни один из видов спорта не распространился столь широко и быстро и не стал столь популярен в других странах.<sup>2</sup> Английское слово «спорт» также было принято другими странами для обозначения определенного рода занятий. И хотя отдельные виды чисто английских спортивных состязаний распространились, главным образом, между 1850 и 1950 гг., получив в каждой стране свою специфику, однако настоящее или современное значение термина «спорт» там установилось даже раньше, чем в Англии. В 1936 г. один немецкий комментатор писал:

Как известно, Англия была колыбелью и любящей «матерью» спорта... Это видно по специальным английским терминам из этой области, которые стали общим достоянием всех наций, как итальянские специальные термины в области музыки. Вероятно, редко случается, чтобы одна часть культуры мигрировала из одной страны в другие, столь мало меняясь.<sup>3</sup>

«Спорт» – факт социального значения, но само слово вначале выступает как будто незнакомцем в чужой стране, и это можно показать на многих при-

<sup>1</sup> Это эссе было впервые опубликовано в сборнике: Eric Dunning (ed.). *The Sociology of Sport: a Selection of Readings*. London, 1971. Оно продолжает другие работы автора, – см.: Norbert Elias. *The Civilizing Process*. Oxford, 1978; *State Formation and Civilization*, Oxford, 1982.

<sup>2</sup> Мы не можем здесь детально рассматривать вопрос, почему в отличие от «соккера», этого английского типа футбола, «руггер» (регби) не получил столь широкого распространения. Но стоит отметить, что анализ таких вопросов может послужить развитию социологической теории спорта.

<sup>3</sup> Перевод автора из работы: Agnes Bain Stiven. *Englands Einfluss auf den deutschen Wortschatz*. Marburg, 1936.

мерах. Выбор времени процесса распространения и усвоения — всегда важный факт в контексте социологического диагноза. Так, в 1810 г. в Германии один аристократический автор, хорошо знавший Англию, еще мог сказать, что слово «спорт» столь же непереводаемо, как и «джентльмен».<sup>4</sup> В 1844 г. другой немецкий автор по поводу термина «спорт» отмечал: «поскольку у нас нет слова для обозначения занятий такого рода, мы вынуждены ввести этот термин в наш язык».<sup>5</sup> Общепринятым английское слово «спорт» становится в Германии в 50-годы XIX в. Непосредственным импульсом к тому послужило увеличение числа спортивных состязаний. Наконец, в XX в. термин «спорт» становится своим для немецкого языка.

Во французском словаре *Larousse du XIXieme Siecle* дается следующая характеристика: «Спорт — sport — английское слово, сформировалось от старофранцузского “desport”, — удовольствие, развлечение...». У французов это вызывало протест, поскольку считалось, что «такие термины портят язык, хотя у нас нет никаких таможенных барьеров на границе, чтобы запретить их импорт».<sup>6</sup> Другими примерами английского импорта во Францию стали такие слова, как «скачки», «жокей», «бег с препятствиями», «матч», «тотализатор» и «бокс». Уже при Людовике XVIII скачки и пари на английский манер стали обычным делом во Франции. Эта мода исчезла во время революции, но возродилась вместе с восстановлением аристократии. Клуб жокеев был основан в Париже в 1833 г. Фактически именно этот вид «спорта» преобладал среди аристократии или «высшего общества» Англии первой половины XIX в. и распространился в других странах как элитарное занятие, пока, наконец, в самой Англии и за ее пределами не уступил в популярности футболу, которым могли заниматься как средние слои, так и слои рабочего класса. В Германии, как и во Франции, некоторые английские термины, относящиеся к спорту, использовались аристократией в XVIII в. Приблизительно с 1744 г. старое слово «бакс» (baxen) обретает более литературную форму «бокс» (boxe). Для понимания развития европейского общества и спорта важно именно то, что первыми видами состязаний, которые перешли из Англии в другие страны, были конный спорт, бокс, охота на лис и им подобные; вместе с тем, такие, как футбол или теннис, как и вообще спорт в современном смысле этого слова, распространились позднее, со второй половины XIX в.

Преобразование полиморфной английской народной игры в «футбол» носило характер довольно длительного развития в направлении большего упорядочения и унификации правил. В 1863 г. это завершилось кодификацией игры практически на национальном уровне. В 1878 г. в Ганновере был создан первый немецкий футбольный клуб, где играли по английским правилам; в Нидерландах такой клуб создается в 1879–80 гг., в Италии около 1890 г. Футбольные федерации были созданы в 1895 г. в Швейцарии, в 1900 в Германии, и в 1906 в Португалии, и все они формировались с учетом увеличения количества клубов в каждой стране. В одних Нидерландах было 25 различных футбольных клубов с более чем десятью членами команды и каж-

<sup>4</sup> Принц Puechler-Muskau. *Briefe eines Verstorbenen*. 9 October 1810.

<sup>5</sup> J. G. Kohl, цитата из: F. Kluge. *Ethymologisches Wörterbuch*. 17<sup>th</sup> edn, 1957, статья о спорте.

<sup>6</sup> *Larousse du XIXieme Siecle*.

дый существовал уже с 1900-01 гг. К 1910-11 гг., число клубов составляло 134. С 1908 г. футбол — с некоторыми перерывами — становится непременной частью Олимпийских игр.

В период распространения игры в других странах термин «футбол» (football) в других языках чаще всего ассоциировался с английским типом футбола (soccer). Во Франции термин сохранил свою первоначальную форму. В Германии без особых проблем он превращается в «Fussball». В Испании — «futbol» с характерными производными типа «futbolero» и «futbolista». В Португалии — «futebol», в Голландии — «voetbal». В Соединенных Штатах слово «футбол» также какое-то время было связано с английским типом игры, но затем волею обстоятельств его значение изменилось. Доминирующий американский стиль игры постепенно отклонился от английского. Некоторые из ведущих американских университетов под влиянием канадского конкурента английского футбола «регби» или «руггера» меняли традиционные правила и далее формировали игру по собственному усмотрению. Но термин «футбол» по-прежнему обозначал различные стили игры, которая в Соединенных Штатах постепенно стала стандартизированной, в то время как английский футбол здесь назывался просто soccer, в отличие от латиноамериканских стран, где для этого продолжали употреблять слова «futbol» и «futebol».

Можно приводить много других примеров из истории распространения и ассимиляции английской спортивной терминологии. Но сказанного достаточно, чтобы обозначить проблему.

## II

Каковы причины того, что в XIX и XX вв. именно английский тип развлечений, называемый спортом, становится международным образцом проведения досуга? Ведь и в истории других стран существовали различные формы игр. Почему же спорт появился впервые именно в Англии? Какие особенности развития и структуры английского общества определяют движущую энергию такой специфической формы досуга, как «спорт»? И в чем отличие спорта от более ранних форм развлечений?

На первый взгляд кажется, что многие вопросы здесь основаны на неверных предпосылках. Только ли в современных обществах впервые стали получать наслаждение от спорта? Разве люди не играли в футбол в Англии и других Европейских странах в эпоху Средневековья? Разве придворные Людовика XIV не имели собственных теннисных кортов и не наслаждались этой «игрой ладоней» (jeu de paume)? А раньше всех древние греки, великие зачинатели «атлетики» и других видов «спорта», — разве не устраивали, подобно нам, местные и межгосударственные спортивные состязания с грандиозным размахом? Не является ли возрождение Олимпийских игр в нашу эпоху достаточным напоминанием того факта, что «спорт» не есть что-то новое?

Трудно ответить на вопрос, был ли тип состязаний, который сформировался в Англии под названием «спорт» и в XVIII-XIX вв. распространен в другие страны, чем-то относительно новым, или это было возрождением чего-то, что было уже у греков, и что сегодня мы задним числом расцениваем как «спорт». Современное широкое значение этого слова, охватывающее

состязания любого вида, позволяет предположить последнее. Аналогично используется понятие «промышленность». В широком смысле оно означает определенную деятельность, которая имеет место и в догосударственных племенных обществах, и в доиндустриальных обществах с государственной структурой, а также в индустриальных национальных государствах. Но существует более узкий и точный смысл этого понятия, который относится к «процессу индустриализации» XIX–XX вв., этому несомненно новому типу организации производства и труда, к возникающим уникальным промышленным структурам, которые могут быть социологически определены достаточно точно, в отличие от других типов производства. Если говорить о «спорте» в широком смысле, то он включает все состязания и физические упражнения, какие только можно встретить в тех или иных обществах; это же понятие в более узком смысле относится к определенному типу состязательных игр, возникшему в Англии и уже оттуда распространившемуся в другие страны. Этот процесс можно было бы назвать, правда не слишком благозвучно, «спортизацией» состязательных игр, — что ясно указывает на проблему: можно ли обнаружить в относительно недавнем развитии структуры и организации такого досуга, как «спорт», тенденцию, которая столь же уникальна, как и тенденция в развитии структур и организации трудовой деятельности в процессе индустриализации?

Это открытый вопрос. Его легко неверно истолковать. Учитывая преобладающую оценку трудовой деятельности как чего-то намного более ценного, чем все формы досуга, легко предположить на этом основании, что любая, имевшая место за последние 200 лет трансформация досуга вообще или состязательных игр в частности, является «следствием» индустриализации. Неявное полагание причинных связей такого рода заранее затемняет суть проблемы. Очевидно, продуктивнее предполагать другую возможность, например, рассматривать индустриализацию, и преобразование определенных форм досуга в спортивные состязания как взаимосвязанные тенденции и составные моменты целостного процесса трансформации общества в его современную форму. И только отказавшись делить сферы социальной жизни на более ценные, рассматривая их как «причины», — и менее ценные — как «следствия», можно надеяться прояснить проблему генезиса спорта, с которой мы здесь сталкиваемся. Это прояснение и есть главная задача нашего эссе.

### III

Следующий отрывок из статьи об атлетике в последнем издании «Британики», очевидно, можно считать хорошим резюме распространенных представлений на эту тему:

Исторически самые первые атлетические рекорды ставились на греческих Олимпийских играх (776 г. до н. э.)..., закрытых по приказу императора Феодосия в 394 г. История атлетики между падением Рима в V в. и XIX в. весьма отрывочна. Религиозные фестивали в эпоху Средневековья часто сопровождалась грубой игрой в мяч между городами-соперниками или гильдиями. Они были предшественниками больших зрелищных спортивных состязаний XX в.: соккера, бейсбола, тенниса, футбола,

и т. д. Индустриальная революция середины XVIII в., введение Томасом Арнольдом (1830 г.) в общественных школах спортивных состязаний как формы внеурочной работы, обеспечило стимул для развития спорта в Викторианскую эпоху Англии. На волне спортивного возрождения XIX в. Олимпийские игры были восстановлены в Афинах в 1896 г. С начала XX в. усиливается интерес ко всем спортивным состязаниям и достигает пика, несмотря на две мировые и другие многочисленные, менее значительные войны.

Этот отрывок говорит о хорошо известных фактах. Действительно, иногда толчок к развитию спорта связывают с инициативой д-ра Арнольда. Но это едва ли помогает понять многие скрытые в таком поверхностном рассказе проблемы. Как, например, объяснить, что игры времен религиозных праздников Средневековья были более «грубыми» по сравнению с праздниками, которые проходили задолго до того в Олимпии, стоящей в этом плане ближе к спортивным состязаниям XIX и XX вв.? И как тут определить степень «грубости»? Каким образом определить допустимую степень «грубости» в цивилизованных стандартах правил спортивной игры? И как воспринимает эту степень каждый участник? Как объяснить «бурное развитие спорта», или «возрождение атлетики в XIX в.»? Как мы помним, средневековые турниры включали разнообразные народные игры того времени — необузданные и фактически несдерживаемые никакими запретами власти, в противоположность тому, что издавались в Англии и других европейских странах в отношении футбола, — что говорило о глубоком и живом интересе к этим соревнованиям. Различие между состязаниями, которые нравились до XVIII в. и состязаниями в эпоху индустриальной революции, заключается в степени их грубости. Было ли это следствием различий в уровне цивилизованности общества? Или эта степень и определяет грань, выделяющую спорт среди прочих форм состязательных игр? Тогда насколько оправданным является разговор о возрождении спорта? Можно ли считать, что «ренессанс», который переживает спортивное движение в XIX и XX вв. есть некое необъяснимое «возрождение» чего-то, что существовало в древности, было утрачено в средневековую эпоху, и по неизвестным причинам просто повторно родилось в наше время? Были ли соревнования в древности более «грубыми» и «дикими»? Были ли они, подобно нашей эпохе, ограничены сравнительно высокой степенью чувствительности восхищенных зрителей к причинению серьезных повреждений участникам соревнований? Возможно, главная тенденция спортивного движения ведет к возрождению того, что уже имело место в древности, — такова по крайней мере прекраснородушная идеологическая легенда, подчеркивающая единство этого движения, его очарование и престиж и вместе с тем вуалирующая его противоречивость. Но такое представление мешает реальному объяснению происхождения спорта и повышения его значения в наше время. Чтобы приступить к решению этой трудной задачи, мы должны непредвзято оценить тот факт, что соревновательные игры, которые мы называем «спортом», подобно самим индустриальным национальным государствам, где эти игры имеют место, обладают некоторыми уникальными чертами, которые и отличают их от других типов игр.

## IV

При более детальном рассмотрении нетрудно увидеть, что классические состязательные игры древности, которые часто рассматриваются как главная парадигма спортивных игр вообще, имели множество особенностей и формировались в условиях, сильно отличных от условий наших сегодняшних соревнований. Цели соперников, стандарты их оценок, правила и ход соревнований во многих отношениях заметно отличались от характеристик современного спорта. Многие сегодняшние работы на эту тему стараются увидеть здесь подобие и завуалировать различия. В результате получается искаженная картина как нашего, так и древнегреческого общества, и, стало быть, непонимание нашей связи с прошлым. Проблема запутывается не только представлением о соревнованиях древности как некоем идеальном воплощении спорта, но также и попытками найти соответствующие подтверждения этой гипотезе в письменных исторических документах, пренебрегая противоположными свидетельствами.

Здесь достаточно обратить внимание на одно из основных различий в структуре состязательных игр классической древности и спортивных состязаниях XIX–XX вв. В эпоху античности такие виды «тяжелой» атлетики, которые соответствуют современным боксу и борьбе, допускали более высокую степень жестокости, чем это предполагается современными правилами. Последние являются более регламентированными и дифференцированными, и они не просто традиционно общеприняты, но зафиксированы письменно, подлежат аргументированной критике и пересмотру. Высокий уровень физической жестокости в античных играх не воспринимался как нарушение каких-то правил. Это симптоматичная особенность организации греческого общества, характерная для стадии его формирования, успех которого зависел от того, что на современном языке называется «государственной» организацией и степенью монополизации физического насилия. Одной из центральных структурных черт современных национальных государств выступает относительно жесткая, устойчивая и безличная монополизация власти, которая реализуется посредством насилия. По сравнению с этим, установленная монополизация и управление физическим насилием в полисных государствах Греции были более элементарными.

Этот вопрос можно прояснить только опираясь на адекватную теоретическую модель цивилизационного процесса.<sup>7</sup> Согласно этой модели, следует ожидать, что государственная структура и структура нравственного сознания, уровень социально разрешенной физической жестокости и порога отвращения к применению или наблюдению насилия, отличаются по своим формам на разных стадиях развития общества и государства. Интересно посмотреть, находят ли подтверждения эти теоретические ожидания в случае классической Греции. Таким образом, только теория на базе эмпирических данных может устранить одно из главных препятствий к пониманию различий между древними и современными играми. Это препятствие заключено в чувстве отвращения, с каким мы узнаем, что уровень жестокости, допустимый

<sup>7</sup> Norbert Elias. *The Civilizing Process*. Oxford, 1978; и *State Formation and Civilization*. Oxford, 1982.

в соревнованиях в ином обществе был выше нашего, что здесь допускалось даже убийство людей, — что приводило зрителей в восхищение. В наших глазах это явно снижает гуманистическую ценность такого общества. В случае Греции мы, таким образом, разрываемся между традиционно высокой оценкой ее гуманитарных достижений в сфере философии, науках, искусствах и поэзии, — и низкой оценкой; речь заходит о меньшем, чем у нас уровне чувствительности греков к физическому насилию, что и позволяет нам говорить о древних греках как о «нецивилизованном» или «варварском» народе. Это совершенно ошибочное понимание природы цивилизационных процессов, когда расхожие термины «цивилизованный» или «нецивилизованный» применяются в оценочном смысле и этноцентрично как окончательные моральные суждения типа «мы хорошие», а «они плохие» или наоборот, — что, очевидно, вносит в наши суждения путаницу.

Мы сами воспитаны в соответствии с социальной организацией современного национального государства, со стороны которого осуществляется контроль насилия, а также существуют стандарты самоконтроля в отношении наших собственных импульсов насилия. Мы автоматически фиксируем отклонения от этих стандартов, — происходят ли они в современных нам обществах или обществах на иной стадии исторического развития. Усвоение этих стандартов определяет наше неприятие насилия в самых разных ситуациях. Повышенная чувствительность к жестокости, отвращение к наблюдению сцен насилия, особенно, совершаемого из идейных оснований, чувство вины от наших собственных прегрешений, «больная совесть» — все это симптомы нашей защиты от насилия. Однако в период постоянных межгосударственных конфликтов эти усвоенные формы защиты неизбежно становятся шаткими и хрупкими, подвергаются испытанию, которое может способствовать укреплению прочности самоконтроля и обуздания наших сильных импульсов в межчеловеческих отношениях в пределах одного и того же общества; но одновременно по отношению к другим обществам такой самоконтроль и внешние властные ограничения могут быть ослаблены. Расчет на относительно высокую степень физической безопасности, которую могут обеспечить экономически развитые страны своим гражданам, всегда составлял важное преимущество жизни в этих странах. Если одновременно с этим государство не может обеспечить монополию и эффективный контроль степени насилия по отношению к другим странам, то в результате это порождает двойную мораль, внутренний раскол общества и угрызания совести.

Такого рода несоответствия, очевидно, можно обнаружить на любых стадиях общественного развития. На родовой ступени развития общества уровень контроля жестокости внутри одной социальной группы почти всегда выше, чем подобный контроль в отношениях между различными социальными группами. В случае греческих полисов такой разрыв между внутренним и внешним контролем был меньше. Но в наше время этот разрыв снова увеличился. Сегодня уровень физической безопасности в большинстве развитых индустриальных национальных государств, хотя и может казаться достаточно низким по оценкам тех, кто в них живет, по всей вероятности, обычно выше, чем в менее развитых государствах, в то время как незащищенность людей в межгосударственных конфликтах едва ли уменьшилась. Жестокие

конфликты между развивающимися странами все еще столь же неуправляемы для тех, кто в них вовлечен. В этих условиях стандарты цивилизованного поведения являются относительно низкими и усвоенные социальные табу против жестокости, и соответствующая структура морального сознания изменчивы и сравнительно неустойчивы. Конфликты внутри индустриальных национальных государств, конечно, ослабли и стали лучше управляемыми. И это результат долгого естественного развития, что, конечно, не является заслугой нынешнего поколения. Но люди современного поколения склонны судить прошлое по своим меркам; так часто и оценивается уровень жестокости, допускаясь в состязательных играх прошлого. С этих позиций мы, скорее всего, не будем в состоянии делать различия между индивидуальными нарушениями стандартов контроля жестокости в пределах нашего собственного общества — и отдельными нарушениями подобного рода в других обществах, в соответствии с их нормами социально допустимого уровня жестокости. Такая наивная, почти автоматическая эмоциональная реакция современного общества часто ведет к неверной оценке других обществ с иными стандартами контроля над насилием и степени его неприятия, — как будто члены этих обществ были свободны выбирать между их стандартами и нашими нормами, делая при этом неправильный выбор. Мы испытываем чувство морального превосходства, считая, что мы «лучше», и часто адресуем нарушителям норм в нашем обществе упрек, характеризуя их поведение как «варварское» или «нецивилизованное». Оценивая по своим меркам нормы, принятые в другом обществе, мы осуждаем их как морально ущербные, и это в наших глазах является признаком более низкой ступени развития их общества, — как если бы оно было частью современного международного сообщества. Как правило, мы не задаемся вопросом, какие механизмы в других обществах определяют изменения социальных норм, регулирующих формы насилия и характер реакции на него. Но тогда мы не сможем понять и наш собственный повышенный уровень чувствительности в отношении жестокости, по крайней мере, во внутрисоциальных отношениях. В лучшем случае наше объяснение этих вещей будет опираться не на трезвый и критический анализ, а выражаться туманными ссылками на «испорченную природу» определенных общественных групп или необъяснимые свойства их «расового» или этнического характера.

## V

Итак, различие допустимых степеней жестокости, принятых в состязательных играх обществ, находящихся на различных стадиях развития, обнажают весьма многоплановую и очень фундаментальную проблему. Рассмотрим несколько уточняющих примеров.

Возьмем борьбу, какой она была в прошлом и стала в наши дни. Сегодня этот спорт хорошо организован и строго регулируется. Органом управления здесь выступает «Международная Федерация борьбы» со штабом в Швейцарии. Согласно Олимпийским правилам, принятым с января 1967, нарушениями в вольной борьбе считаются злоупотребление мертвой хваткой, действия, могущие привести к удушению противника, и двойной нельсон с давлением,

приложенным ниже пояса совместно с ударом по ноге. Удары кулаком, пинки, давление головой также запрещаются. Борьба длится не более девяти минут и разделена на три периода по три минуты с двумя перерывами по одной минуте, управляется рефери, тремя судьями и хронометристом. Несмотря на эти весьма жесткие регламентации, вольная борьба рассматривается сегодня многими как один из наименее культурных и наиболее «грубых» видов спорта. Сегодня популярен также профессиональный вариант этого вида борьбы, специально срежиссированный для зрителя. Но профессионалы редко наносят серьезные повреждения друг другу. По всей вероятности, публика не любит видеть сломанные кости и потоки крови. Однако исполнители профессионально демонстрируют причинение вреда друг другу, и публике кажется, что всё происходит по-настоящему.<sup>8</sup>

Среди соревнований на древних Олимпийских играх был распространен вид спорта под названием панкратий (pancratation), объединявший борьбу и бокс. Последний выделился в самостоятельный вид, который стал одним из самых популярных видов спорта. Но по уровню допустимой жестокости панкратий сильно отличался от современной вольной борьбы. Так, Леонтис из Мессины, дважды выигрывавший на соревнованиях по борьбе в первой половине V в. до н. э., получил олимпийскую корону не за победы, а за то, что он, бросая своих противников, ломал им пальцы. Аррахион из Пигалии, дважды олимпийский победитель в панкратии, в 564 г. до н. э. был задушен во время его третьей попытки выиграть олимпийскую корону; но перед смертью ему удалось сломать палец ноги своего противника, и тот от боли вынужден был уступить в борьбе. Судьи объявили Аррахиона победителем посмертно. Соотечественники впоследствии установили его статую на рыночной площади.<sup>9</sup> Это, очевидно, было общепринятой практикой. Если человек на каком-либо большом празднике погибал в ходе соревнований, он посмертно получал корону победителя. А оставшийся в живых соперник, потеряв корону, — что было очень серьезной потерей, — хотя и не подвергался наказанию, но в глазах общественного мнения получал клеймо позора. Участник этих соревнований должен был считаться с риском быть убитым или раненым. Оценить различие между современной борьбой как спортом и как состязанием (агоном) можно из следующего отрывка:

В панкратии конкуренты боролись каждой частью тела: руками, ногами, локтями, коленями, шеями и головами; в Спарте они использовали ноги даже как оружие. В панкратии противникам позволялось выдавливать глаза друг другу (...), ставить подножку, также хватать за ногу, нос и уши, ломать пальцы и руки и применять удушение. Если кому-то удалось повалить противника, он имел право сидеть на нем и бить его по голове, лицу и ушам; он мог также пинать и топтать его. Ясно, что соперники в таком жестоком состязании могли получить серьезные увечья, а иногда и быть убитыми! Панкра-

<sup>8</sup> Дискуссии вокруг современной профессиональной борьбы как разновидности фарса см. в статьях: Gregory P. Stone. *American Sports: Play and Dis-Play and Wrestling: the Great American Passion Play*, опубликованных в сборнике: Eric Dunning (ed.). *The Sociology of Sport: a Selection of Reading*. London, 1971.

<sup>9</sup> Н. Foerster. *Die Sieger in den Olympischen Spielen*. Zwickau, 1891. (См. также: Павсаний. *Описание Элады*. Т. II, VIII, 40, 1. 2. — *Прим. перев.*)

тии, в которых участвовали спартанские юноши, были, судя по всему, наиболее жестокими из всех. Павсаний сообщает нам, что соперники буквально боролись зубами, ногтями и каждой частью тела.<sup>10</sup>

При этом был судья, но никакого хронометриста и никакого ограничения по времени. Борьба продолжалась, пока один из противников не сдавался. Правила были традиционные, неписанные, недифференцированные, и в своем применении, очевидно, гибкими. По всей видимости, всякий обман был запрещен. Но прежде, чем судья мог удалиться на безопасное расстояние охваченного яростью сражения нарушителя, тот уже мог нанести противнику серьезное повреждение.

Старые Олимпийские игры существовали более тысячи лет. Стандарты жестокости в борьбе за это время, очевидно, менялись. Но независимо от этих изменений, порог чувствительности к физическим травмам и даже смертельному исходу в этих соревнованиях, соответственно, их этос в целом, сильно отличались от того, что сегодня называется «спортом».

Бокс служит здесь еще одним примером. Подобно борьбе, которая входила в панкратий, кулачный бой, в отличие от современного бокса, был мало ограничен правилами, и здесь всё зависело от физической силы, выносливости и непосредственной воли к борьбе. Здесь, как и в иных видах состязаний, не проводилось различия между весовыми категориями боксеров. Единственное различие делалось между мальчиками и мужчинами. Боксеры дрались не только кулаками, но и ногами. В старину удар ногой по противнику был нормальной частью боксерской традиции.<sup>11</sup> Рука и верхние части четырех пальцев были связаны кожаными плетями, закрепленными к предплечью. Кулаки могли быть сжаты, но можно было применять вытянутые пальцы которыми можно было таранить тело и лицо противника. Со временем, мягкие кожаные плети уступили место более твердым, специально сделанным из дубленой кожи буйвола.<sup>12</sup> Они были тогда оснащены острыми гранями с выступающей кромкой. Статуя сидящего боксера рядом с храмом Аполлона в Афинах (Гв. н. э.), находящаяся теперь в Национальном Римском музее, довольно ясно показывает эту оснащенность. Но бокс здесь — слово, могущее ввести в заблуждение. Не только манера, но цель и весь этос этого вида соревнований отличались от современного спортивного бокса. Достаточно заметить, что этос борьбы этого класса боя, как и греческого агона вообще, возник из этоса борьбы аристократического воина. Подобный этос сформировался в стране, которая как никакая другая из стран европейского континента, создала превосходную организацию для ведения морских сра-

<sup>10</sup> Franz Mezo. *Geschichte der Olympischen Spiele*. S. 100–101; цитата из: Ludwig Dress. *Olympia; Gods, Artists, and Athletes*. London, 1968. P. 83.

<sup>11</sup> Philostratos. *On Gymnastics*. Ch. II.

<sup>12</sup> Филострат упоминает, что плети, сделанные из свиной кожи были запрещены, поскольку считалось, что повреждения от них слишком серьезны. Также запрещены были удары кулаком с вытянутым большим пальцем. Эти детали показывают, что некие общепринятые правила имели место и в древности, и участники тех состязаний должны были им подчиняться. Но правила эти были основаны на устной традиции и оставляли большие возможности нанесения серьезного урона противнику.

жений<sup>13</sup>, сильно отличавшихся от войны на суше. Такой этос сильно отличался и от военного кодекса чести офицерского корпуса сухопутных армий европейских государств.

Греческий «бокс» вместе с другими формами «агонистики» и практики греческих полисов, в отличие от английского бокса XVIII–XIX вв., имел значение не только в качестве подготовки к соревнованиям, но и как обучение воевать. Филострат упоминает, что техника боя в рамках панкратия позволяла держать граждан греческих армий в хорошей физической форме, — что, в частности, проявилось в сражении при Марафоне, когда оно превратилось в общую схватку; а также в Фермопилах, где спартанцы боролись голыми руками, когда их мечи и копья были сломаны.<sup>14</sup> Во времена Римской империи армии граждан больше не использовались. Против неприятеля боролись профессиональные солдаты — римские легионеры. Отличие между военной техникой боя и ведением войны, с одной стороны, и традиционной агональной техникой соревнований, с другой — возросло. Грек Филострат с понятной ностальгией оглядывался на классические времена. Возможно даже в те времена армий гоплитов методы ведения войны и состязательных игр действительно были ближе друг другу, чем методы ведения войны и спортивные состязания во времена индустриальных национальных государств. Филострат был, очевидно, недалек от истины, когда писал, что в прежние времена люди рассматривали состязания как подготовку к войне, а войну как упражнение в тех же состязаниях.<sup>15</sup> Этос соревнований на больших греческих праздниках все еще отражал дух героических предков, какими они представлялись в поэмах Гомера. Благодаря таким состязаниям этот дух передавался от поколения к поколению, увлекая молодежь, показывая идеалы, которыми руководствовались в борьбе за статус и власть благородные элиты в большинстве обществ того времени. Борьба как в играх, так и на войне должна была показывать достоинства воина, за которые человек получал самую высокую похвалу и честь среди членов его собственной семьи, клана или среди граждан его города. Было престижно стать победителем состязаний, но и побежденный от этого не терял уважения, — как это было с Гектором, уступившим Ахиллесу, — поскольку каждый из воинов боролся изо всех сил до конца, пока не был ранен или убит. Победа или поражение были в руках богов. Позор и бесславие доставались тому, кто отдавал победу, не показав храбрости и выносливости.

Именно в соответствии с этим этосом воина мальчишки или мужчины, которым случалось быть убитыми в боксе или борьбе на Олимпийских играх, были часто коронованы как победители, и слава их доставалась родителям или городу, в то время как оставшийся в живых их убийца не получал никакого осуждения или наказания. Греческие игры не подпадают под возвышенное понятие «справедливости». Этос справедливости у англичан не имел милитаристских корней. В Англии он формировался вместе с очень определенными

<sup>13</sup> См. Norbert Elias. *Studies in the Genesis of the Naval Profession*, опубликовано: British Journal of Sociology. Vol. 1. № 4. December 1950.

<sup>14</sup> Philostratos. *On Gymnastics*. Ch. 11.

<sup>15</sup> Там же. Ch. 43.

изменениями в характере наслаждения и волнения, которые человек получает от игровых соревнований. Здесь слишком краткое удовольствие от непосредственного наблюдения самих состязаний продлевалось благодаря не меньшему волнению от предварительной стимулирующей подготовки. Радость и волнение от спортивной игры усиливались от заключаемых пари, — что сыграло значительную роль как в преобразовании «грубых» форм соревнований в собственно спортивные игры, так и для развития этоса справедливости. Джентльмены, наблюдавшие соревнования своих сыновей, слуг или известных профессионалов, любили делать денежные ставки. Это составляло дополнительный источник волнений, непосредственно зависящих от хода соревнований, — а такие волнения уже предполагают умеренность и ограничения. Перспектива честного выигрыша пари возможна только, если начальные шансы игроков будут более или менее уравнены и минимально предсказуемы. Все это требует более высокого уровня организации соревнований, чем это было в древнегреческих полисах.

Боксеры Олимпии не классифицировались согласно их весу. Не было никакого ринга, противники боролись на открытой части земли внутри стадиона. Целью были голова и лицо... Борьба происходила, пока один из двух соперников больше не был способен защититься или подтверждал поражение. Это он показывал, поднимая свой указательный палец или вытягивал два пальца к своему противнику.<sup>16</sup>

Рисунки на греческих вазах обычно изображают боксеров в традиционной позиции близко друг к другу так, что каждый расположен впереди, рядом, или даже позади другого на расстоянии одного фута. Это оставляет мало возможностей для работы ног, что, напротив, играет важную роль в современном боксе, позволяя боксерам быстро перемещаться вправо, влево, взад и вперед. У греков, согласно кодексу воина, двигаться назад было признаком трусости. Избегать ударов врага, перемещаясь, было позором. Боксеры, подобно воинам, должны выдерживать драку, а не уступать дорогу. Умелые боксеры могли использовать непробиваемую защиту, утомляя противника, и побеждать без получения повреждений. Но если бой шел слишком долго, судья мог принять решение, чтобы противники поочередно наносили удары без применения защиты до тех пор, пока кто-либо из них не терял способность вести борьбу. В этом агональном типе бокса победа или поражение были кульминацией, и этот решающий миг составлял самую существенную часть состязания, более важную, чем само состязание. Это было огромное испытание физической выносливости и навыков мускульной силы. Частыми были серьезные повреждения глаз, ушей и даже черепа; были разорванные уши, сломанные зубы и раздавленные носы. Есть история о двух боксерах, которые согласились обмениваться ударом на удар без защиты. Первый был поражен ударом по голове, которая однако осталась без серьезных повреждений. Когда второй противник понизил бдительность, другой ударил его под ребра вытянутыми пальцами, разорвал кожу, вытащил внутренности и убил его.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Dress. *Olympia*. P. 82.

<sup>17</sup> Там же.

«Из всех Олимпийских соревнований, сегодня наиболее чуждым нам кажется бокс; и как бы мы того ни хотели, мы все еще неспособны понять, как люди с таким выдающимся эстетическим вкусом могли получать удовольствие от этого варварского зрелища, где два человека бьют друг друга по голове кулаками..., пока один из них не признает свое поражение, или будет не в состоянии продолжать борьбу. Не только для римлян, но и для греков эта форма соревнования недолго была спортом; это было смертельное и серьезное занятие... Многие олимпийцы потеряли свою жизнь на стадионе».

Этот критический пассаж, написанный в 1882 г. Адольфом Беттичером, одним из первых ученых, изучавших Олимпийские игры, сохраняет значение и сегодня. В панкрати боксеры, как и борцы, были нацелены на победу любой ценой.<sup>18</sup>

Однако эти факты требуют анализа. Приведенная цитата представляет почти образцовый пример недоразумения, которое следует из некритического использования собственного уровня неприятия определенных типов физического насилия в качестве общего критерия оценки различных обществ, независимо от их структуры и стадии социального развития, — в том числе и уровня социальной организации и степени контроля физического насилия. Последний фактор является не менее существенной характеристикой развития общества, что и организация и контроль «экономических» средств производства. Здесь мы сталкиваемся с примечательным барьером, который мешает адекватно понять функциональную целостность общества. Это происходит от того, что разные общественные явления рассматриваются изолированно, и их оценки формируются в совершенно разнородных контекстах. Так, классическая греческая скульптура высоко ценится и по меркам нашего времени. А формы физического насилия, принятые у греков в таких состязаниях как борьба или бокс, вызывают у нас отрицательные эмоции. Такие противоположные оценки разных элементов жизни одного и того же общества со стороны тех, кто все измеряет предвзятыми ценностными суждениями, приводят к ложному мнению, что речь идет об элементах, друг с другом не связанных. И те, кто судят прошлое таким образом, сталкиваются с неразрешимой проблемой.

Однако если мы заинтересованы в социологическом анализе связей между разными аспектами единой общественной жизни, то нет оснований принимать во внимание только те ее стороны, которые мы, как сторонние наблюдатели, оцениваем позитивно. В любом обществе существуют тесные взаимосвязи между всеми проявлениями жизни, и уже их фактическое сосуществование означает, что нужно учитывать целостную внутреннюю систему ценностей этого общества, позволявшую существовать столь разнородным с нашей точки зрения явлениям. Красота греческого искусства и относительная жестокость игровых состязаний — хороший тому пример. Кажущиеся несовместными с исторической дистанции, эти вещи суть проявления одного и того же уровня развития единой социальной структуры.

<sup>18</sup> Там же. Р. 81.

Возникновение скульптуры на архаической почве Греции, идеалистический реализм скульптур классического периода, остается непостижимым без понимания той роли, какую играл физический облик человека как решающий фактор его социального статуса, поддерживаемый правящими элитами греческих полисов. В этом обществе человеку со слабым или уродливым телом вряд ли возможно было достигнуть или поддерживать свой высокий социальный или политический статус власти. Физическая сила и красота, уравновешенность и стойкость в качестве факторов, определяющих социальное положение мужчины, в греческом обществе имели более важное значение, чем в нашем. Не каждый знает, что возможность для человека с физическими недостатками возвыситься или поддерживать свое положение лидера, иметь высокий социальный статус, — это относительно недавнее явление в развитии обществ. Поскольку «образ тела» или физическая внешность в обществах нашего типа ценятся в целом ниже, чем, например, «интеллект» или «моральный облик», которые определяют в наших глазах целостный образ достойного человека, — это как раз и мешает пониманию других обществ, где физические достоинства имели гораздо большее значение. В Древней Греции это несомненно и имело место. В отличие от греков, в нашем обществе, даже если физическому облику придается значение, — скажем, этим озабочены женщины или телевидение, — в целом красота и сила не играют заметной роли в том, каким уважением в общественном мнении может пользоваться человек. В этом плане симптоматичен факт, что одна из наиболее развитых современных стран избрала на самый высокий пост парализованного человека.

Иное положение мы видим в греческом полисе. От тех, кто был слаб или уродлив, старались избавиться уже с раннего детства. Слабые младенцы были обречены на смерть. Человек, который был не способен к борьбе, значил немного. Иметь и поддерживать общественное лидерство тому, кто был калеккой, больным или очень старым, было почти невозможно. Одно из выражений для идеала в классическом греческом обществе, слово «арете», часто переводится как «добродетель». Но фактически это не передает смысла греческого классического идеала, поскольку «добродетель» относится к любым моральным достоинствам. Упомянутый идеал означал прежде всего воинскую доблесть, и здесь форма тела и сила играли доминирующую роль. Именно такой идеал отражается в греческой скульптуре и в игровых состязаниях. Наиболее отличившимся победителям Олимпиад устанавливали статуи в Олимпии или иногда в их родных городах.<sup>19</sup>

Особое социальное положение атлета — просто иной аспект единой характеристики греческого общества классического периода, которая отличает это общество от нашего. «Культура» тела как эквивалент спорта не была

<sup>19</sup> Мы не можем обсуждать здесь причины той секуляризации, которая, среди прочего, проявилась в переходе от более торжественного, вызывающего страх и почтение изображения богов и героев в архаическом периоде (примером может служить Медуса с фронтона храма Артемиды в Коркире), — к идеалистическому реализму классического периода, где боги и герои представлены как стройные воины, молодые или старые, чей вид говорит сам за себя, хотя их лица мало что выражают, даже если взять Дельфийского возникшего, инкрустированные глаза и частично цвет в изображении которого сохранились до нашего времени.

специальным занятием в той же мере, как сегодня. В современных обществах боксер — это специалист; и когда мы говорим об известных «боксерах» древности, то слово это способно вызвать в наших умах современную картину. А в те времена фактически те, кто проявили физическую силу, доказали свою ловкость, храбрость и выносливость, победив в больших соревнованиях известных в Олимпии атлетов, имели очень хороший шанс получить высокий социальный и политический статус у себя на родине. Участниками Олимпийских игр были, главным образом, члены «благородных семей», происходили из относительно богатых элит их родных городов, из землевладельцев и состоятельных крестьянских семейств. Участие в этих соревнованиях требовало долгого и трудного обучения, которое могли позволить себе только относительно состоятельные люди. Многообещающий молодой атлет, который испытывал недостаток средств для обучения, мог найти богатого покровителя, или профессиональный тренер мог выдать ему аванс. Но в случае олимпийской победы атлет приносил славу своей семье и родному городу и имел все шансы стать членом правящей элиты. Вероятно наиболее известным борцом классической античности был Милон из Кротона. Он одержал много побед в Олимпии и на других панэллинских праздниках. Это был человек потрясающей силы, которая в своё время стала легендой. Он также считался одним из лучших учеников Пифагора и был командующим армии его родного города, выиграв сражение против Сибариса, которое закончилось массовым убийством побежденных жителей. Но даже тех, кого и сегодня помнят за их интеллектуальные достижения, в свое время ценили также за их участие в воинском деле и атлетике. Так Эсхил, Сократ и Демокрит прошли трудную школу сражений в армии гоплитов. Платон имел победы на некоторых спортивных праздниках. Таким образом, идеализация воина в греческой скульптуре и даже представление о богах в соответствии с идеальным физическим обликом аристократического воина и победителя соревнований составляло органичную особенность той культуры, выражало социальную позицию, образ жизни и идеалы этого общества. Понимание этой фактической взаимосвязи не мешает нам восхищаться греческим искусством и может только усилить это впечатление.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> То, какую роль во всех человеческих отношениях играла степень монополизации и управления физическим насилием на ранних стадиях общественного развития, проявляется среди прочего в том, сколь часто в греческих мифах поднималась тема конфликта отца и сына. Толкование Фрейдом мифа об Эдипе односторонне, потому что Фрейд этот миф рассматривает только как историю сына. Однако в контексте греческого общества эта история, как и другие связанные с ней мифы, несет более объемный социальный смысл. Это отношение отца и сына, царя старого и молодого, нужно рассматривать как со стороны сына, так и со стороны отца. Фрейд показал эти отношения со стороны сына, который ревнует мать к отцу, опасаясь его физической силы и власти. Однако и со стороны отца, стареющего царя, — как это отражено в греческих мифах, — боязнь сына как соперника играет не меньшую роль в их отношениях. Отец неизбежно становится старым и слабым, а сын из маленького ребенка превратится в сильного и энергичного человека. Во времена, когда благополучие сообщества, клана или отдельного дома напрямую было связано — как фактически, так и в воображении членов этих групп — со здоровьем и энергией царя или лидера, старый человек часто становился ритуальной жертвой, и на смену ему приходил один из его сыновей. Многие греческие мифы показывают, что этот сын до времени должен быть сокрыт от гнева и преследований отца, и пока он оставался молодым, обычно его

## VII

Сравнение уровня жестокости, принятого на состязаниях классической Греции или на турнирах и в народных играх Средневековья, — с современными спортивными соревнованиями показывает определенную тенденцию цивилизационного процесса. Но изучение этой тенденции, направленной к цивилизованности состязаний, будет неадекватным и неполным, если рассматривать ее в отрыве от целостной специфики тех обществ, в рамках которых выделяется феномен состязаний. Иначе говоря, невозможно понять меняющийся уровень цивилизованности состязательных игр, если, по крайней мере, не рассматривать их в контексте общего уровня социально разрешенной жестокости, уровня организации ее контроля и соответствующего сознательного отношения к этому в том или ином обществе.

воспитывал какой-либо незнакомец. Так согласно недавнему исследованию (Edna H. Hooker. *The Goddess of the Golden Image, in Parthenos and Parthenon, Greece and Rome*. Приложение к vol. X, Oxford, 1963. P. 18), «мы знаем, что дети царской семьи в примитивных аграрных обществах были в постоянной опасности как потенциальная угроза сроку пребывания царя на его троне или вследствие амбиций мачехи, продвигавшей к трону своих сыновей. В греческих мифах и легендах немногие из принцев были воспитаны дома. Кто-то был послан к кентавру Хирону; но большая часть оказывалась в положении изгоев вместе со знаками своего истинного происхождения».

Царь Лай бросает на произвол судьбы своего сына Эдипа, опасаясь, что тот убьет его. Зевс был втайне возвращен нимфами, поскольку его отец Кронос чувствовал угрозу от сына и пытался убить его. Зевс, подобно Яхве, сам боялся, что человек овладеет его волшебным знанием, и жестоко наказал Прометея, который посмел украсть огонь у неба и дать его людям.

Взаимное соперничество и подозрительность как составная часть отношений между отцом и сыном, — отражение чего мы находим у греков и во многих иных легендах, — постепенно утрачивает свою роль по мере того, как в обществе создаются условия, когда родственники по мужской линии не подвергают жизни друг друга опасности, когда государство монополизирует право использовать физическое насилие, запрещая отцам убивать или распоряжаться жизнью своих детей. Потребовались бы основательные сопоставительные исследования, чтобы выяснить, в какой мере чувство соперничества и ревности к отцу, — что обнаруживал в своих пациентах Фрейд, — выступает в то же время реакцией на чувство соперничества и ревности к сыну со стороны отца. И если взять греческие мифы, прежде всего, легенду об Эдипе, то едва ли можно сомневаться насчет взаимности и двойственности этого чувства соперничества между отцом и сыном. В противном случае использование этого мифа как теоретической модели определенного отношения будет неполным. В обществе, где физическая сила и власть играли намного большую роль, чем сегодня, — как в рамках отдельной семьи, так и за ее пределами, — это аллегорическое изображение имеет большое и не только чисто подсознательное значение. Взятая в этом контексте легенда об Эдипе предупреждает, что сын будет наказан богами, если он убьет своего отца. Но смысл мифа заключается не только в убийстве старого царя, но и в нарушении табу кровосмешения, и этот запрет намного старше, чем запрет отцеубийства. В этом отношении миф об Эдипе, очевидно, отвечает относительно поздней стадии развития общества, поскольку на более ранней стадии ни убийство молодого сына, ни убийство старого отца не были преступлением. Эти легенды, таким образом, могут помочь нам понять тип человеческих отношений, которые существовали на той стадии, когда социальная организация, которую мы теперь вызываем «государством», была еще не развита, и когда физическая сила человека, его способность обеспечить свое выживание благодаря собственной силе и борьбе были главными детерминантами всех типов человеческих отношений, включая отношения между отцом и сыном.

Несколько примеров могут помочь сосредоточить внимание на этом контексте. В XX в. массовые убийства, совершенные немецким нацизмом, вызвали отвращение по сути во всем мире. Память об этих событиях какое-то время бросала тень на доброе имя Германии. Шок от преступлений нацистов был тем больший, что многие жили с иллюзией невозможности предположить такое варварство в XX столетии. Считалось, что люди стали «более цивилизованными», что их природа поднялась «выше» в моральном отношении. Они обрели чувство собственного достоинства, поскольку преодолели дикость, свойственную далеким предкам или другим народами, они стали решать проблемы мирным путем, поскольку их поведение и чувства стали цивилизованными. Нацизм служит здесь своего рода предупреждением; он напоминает, что преграда насилию заключена не в каком-то внешнем признаке превосходства природы «цивилизованных наций», не в вечных расовых или этнических особенностях их характера, но в специфическом типе социального развития, результаты которого выступают в дифференцированном и стабильном социальном контроле способов насилия и в соответствующей структуре сознания. Естественно, что социальное развитие в этом плане может пойти и в обратном направлении.

Сказанное не означает, что нет никаких оснований для оценки определенных результатов развития человеческого поведения и чувств как более «лучших» по сравнению с прошлым. Единственное требование для оценочных суждений такого рода — учитывать все многообразие фактических связей в обществе. Кроме того, если оценивать более цивилизованные формы поведения и чувств как нечто «лучшее», если полагать, что человечество сделало несомненные успехи, усвоив неприятие таких форм насилия, что были обычными в прежние времена, то мы сталкиваемся с вопросом, почему это непредсказуемое развитие закончилось тем, что сегодня оценивается как прогресс.

Все суждения о стандартах цивилизованного поведения — суждения сравнительные. Нельзя в абсолютном смысле говорить: «мы цивилизованные», а «они» — нет. Говорить, что «стандарты поведения и чувств в обществе А выше, чем в обществе В, менее цивилизованном» можно, если разработан ясный и точный масштаб развития. Сравнение греческих и современных спортивных состязаний служит здесь одним примером. Другим — сравнение степени общественного неприятия массовых убийств. Почти повсеместное чувство отвращения к геноциду указывает на то, что человеческие сообщества прошли определенный путь цивилизации, однако это достигнуто за счет самоограничения, и результаты здесь непрочны. Сравнение с прошлым это ясно показывает. В греческую и римскую эпохи уничтожение всего мужского населения побежденного города, продажа в рабство женщин и детей могли пробудить жалость, но не вызывали осуждения. Наши источники неполны, но даже они показывают, что случаи массовых убийств регулярно повторялись в течение целой эпохи.<sup>21</sup> Иногда поражение армии или долго ожидаемое сражение накапливало ярость, выливавшуюся в массовое уничтожение врага. Полное разрушение Сибариса под предводительством известного борца Милона Кро-

<sup>21</sup> Pierre Ducrey. *Le Traitement Prisonniers Guerre dans la Grece antique*. Ecole Francaise d'Athenes, Travaux et Memoires, Fas. XVIII. Paris, 1968. Pp. 196 ff.

тонского, к чему приложили руки и другие граждане Кротона, служит здесь характерным примером.

Иногда «геноцид» был запланированным действием, нацеленным на уничтожение военной мощи конкурирующего государства. Так, по распоряжению спартанского полководца Клеомена было совершено массовое уничтожение всех мужчин Аргоса, способных носить оружие, поскольку Аргос был потенциальным конкурентом Спарты. В 416 г. до н. э. по решению народного собрания Афин было уничтожено мужское население Мелоса, — эпизод, ярко описанный Фукидидом. Резоны такого решения похожи на те, что выдвигал Советский Союз при введении войск в Чехословакию в 1968 г. Афины считали Мелос частью своей империи, и этот остров имел для них определенное стратегическое значение в борьбе со Спартой. Но жители Мелоса не хотели быть частью афинской империи. Поэтому афиняне убили мужчин Мелоса, женщин и детей продали в рабство и заселили остров афинскими колонистами. Большинство греков тогда рассматривали войну как нормальное отношение между государствами. На какой-то ограниченный период война по соглашению сторон могла прекратиться. Боги устами жрецов могли не одобрять такого рода жестокости. Однако уровень «морального» осуждения того, что сегодня мы называем «геноцидом», уровень принятых запретов против физического насилия, был тогда настолько низок — если не отсутствовал вообще, — что это не вызывало чувства вины и позора, как это имеет место в относительно развитых национальных государствах XX в.

К жертвам не было никакого сострадания. В афинской драматургии, особенно у Еврипида в его «Троянках», это отсутствие морального осуждения или негодования выражено вполне определенно. Вряд ли можно сомневаться, что продажа в рабство женщин, разлучение матерей с их детьми, убийство мальчиков и многие иные темы насилия и войны в греческой трагедии имели совершенно актуальный смысл в жизни тогдашней афинской публики, в отличие от современной.

В целом, уровень физической опасности в древних обществах был значительно выше, чем в современных национальных государствах. Поэты древности могли выражать к жертвам сострадание, но не моральное осуждение насилия, — и такая двойственность воспринимается нами как противоречие. Уже Гомер не одобрял Ахиллеса, который в печали и ярости от гибели Патрокла принес в жертву не только овец, скотину и лошадей, но и 12 знатных юношей Трои, которых он сжег на погребальном костре. Но поэт при этом не осуждает своего героя с некоей высокой позиции моральной справедливости за варварские злодеяния. Критика поэтом Ахиллеса лишена эмоциональных тонов морального осуждения. Она не затрагивает, как мы бы сказали, «репутации» героя, его достоинства как человека. Люди в печали и ярости могут совершать «дурные поступки» (*kaka erga*). Певец склоняет голову, но не обращается к совести своих слушателей; он не просит, чтобы они расценили Ахиллеса как совершившего преступление против морали, или человека с дурным характером. Он обращается к их состраданию, их пониманию страсти, которая во время напряжения сил захватывает даже лучших, даже героев, заставляя совершать «дурные поступки». Человеческое достоинство героя как аристократа и воина не ставится под вопрос. Человеческая жертва

для древних греков не воспринималась как нечто ужасное, — что имеет место в «более цивилизованных» странах XX в.<sup>22</sup> Каждый греческий ученик знал про гнев Ахиллеса, про жертвы на похоронах Патрокла и воинские игры, которые Ахиллес устроил в память погибшего. Олимпийские состязания греков находятся в прямой зависимости от этой традиции. Однако наследование традиций Олимпийских игр в современном спорте шло по иной линии.

## VIII

Итак, можно видеть, что богам и героям Гомера свойственны определенные страсти и склонность к насилию. Накал этих страстей и уровень насилия, постепенно снижаясь, воплощается в нормах характерного для греков самообладания и «морального сознания», образцы которого мы находим уже в Афинах классической эпохи. Сохранившиеся надгробия, храмы и скульптуры греческих богов и героев помогают нам представить древних греков как исключительно уравновешенных, спокойных и гармоничных людей. Термин «классический» во фразах типа «классическая древность» вызывает картину греческого общества как образца сбалансированной красоты и уравновешенности, которому более поздние поколения уже никогда не смогут подражать. Но это неверное представление.

Невозможно точно судить, какова была роль классической Греции в развитии «морального сознания», способов управления формами насилия или иными сферами жизни греков. Достаточно сказать, что даже в классической Греции моральное сознание только пробуждалось и зависело от внешних сил, воплощенных в приказах или угрозах богов или демонов, вполне произвольных в определении того, что следует делать людям и чего не следует. Опора морального сознания на относительно безличный, надындивидуальный «внутренний голос», говорящий в соответствии с общими социальными представлениями о справедливом и несправедливом, о праве и несправедливости, — была скорее исключением, чем правилом. «Демон» Сократа был в классической Греции, пожалуй, наиболее близким выражением для нашего типа формирования морального сознания. Но даже этот сугубо индивидуальный «внутренний голос» в некотором смысле был для человека голосом внешнего гения или опекуна. Кроме того, в Греции времен Сократа, — как свидетельствует Платон, — усвоение и индивидуализация норм поведения, социальные способы управления этими процессами были явно исключительным явлением. Об этом свидетельствует и древнегреческий язык, в котором не было дифференцированного и специального слова для обозначения «морального сознания» (*conscience*). Были другие слова типа *synesis*, *euthymion*, *eusebia*, которые иногда переводятся как «моральное сознание», но при более внимательном изучении, мы понимаем, что каждое из них по смыслу не совпадает с упомянутым переводом и охватывает более широкий спектр значений, типа «угрызения совести», «благочестие», «богобоязненность». Но в интеллектуальном багаже греков не было особого понятия «морального сознания» в современ-

<sup>22</sup> Fr. Schwenn. *Die Menschenopfer bei den Griechen und Romern*. Giessen, 1915.

ном смысле. В отличие от «страха перед богами» или «страха позора», это понятие обозначает некий высший авторитет или внутреннюю и часто тираническую инстанцию, руководящую поведением индивидуума, требующую повиновения и наказания за отказ повиноваться, вызывающую мучительное «чувство вины». Это чувство идет ниоткуда, и у него нет внешнего источника, излучающего власть. Этот факт свидетельствует о том, что греческое общество еще не достигло стадии усвоения элементов культуры на индивидуальном уровне, предполагающем внутреннюю автономию человека, характерную для современных обществ.

Таким образом, если мы хотим понять высокую степень жестокости и терпимость к ней на греческих состязаниях, нужно рассматривать греческое общество в целом. В рамках социальной структуры греческого полиса индивидуумы сильно зависели друг от друга и от внешних инстанций, которые могли принимать санкции, ограничивающие их страсти. Они в этом плане гораздо менее, чем люди современных индустриальных обществ, могли полагаться на внутренне усвоенные барьеры, на самих себя в управлении сильными импульсами страстей. Конечно, нужно учесть, что по крайней мере представители элиты греческого общества уже были способны к большему индивидуальному самоконтролю, чем их предки в доклассическую эпоху Греции. Об этом свидетельствует критическое отношение греческой классики к изменчивым образам богов с их произволом и жестокостью. Если иметь в виду специфику той стадии развития цивилизации, какую представляла Греция полисной эпохи, нетрудно понять, что более высокая, по сравнению с нами, подверженность страстям в поступках древних греков была вполне совместима с их стремлением к физическому совершенству, душевной уравновешенности, с их аристократическим изяществом и достоинством жеста, запечатленным в греческой скульптуре.

В заключение полезно кратко указать еще на одну связь уровня насилия, воплощенного в греческих состязаниях и войнах, с иными структурными характеристиками греческого общества. Гражданин полиса, даже в Афинах, для защиты своей жизни от нападений другого не обращался к государству, как это происходит сегодня. Даже в классическую эпоху убийство или нанесение увечий ставило перед его родственниками вопрос о мести. По сравнению с нашими временами семья все еще играла большую роль в защите индивидуума против насилия. Это означало, что каждый здоровый человек должен был уметь отомстить за своих родственников или защитить их. Даже в пределах полиса общий уровень физического насилия и опасностей был сравнительно высок. Это помогает понять, почему у греков было пониженное чувство неприятия причинения боли и увечий другим, почему они могли это спокойно наблюдать, почему чувство индивидуальной вины за совершенное насилие было подавленным. Будь иначе, в их обществе это служило бы серьезной помехой для жизни.

Несколько высказываний великого греческого философа Демокрита могут помочь лучше понять эту особенность поведения. Она симптоматична для общего социального опыта людей той эпохи. Высказывания философа показывают, что понятия «справедливого» и «несправедливого» не могут означать то же самое для нас и для человека, которому приходилось самому защищать свою

жизнь и жизнь своих родственников. Согласно правилам традиции, справедливый будет, говорил Демокрит, убить любое живое существо, которое причинило тебе ущерб; не убить его было бы несправедливо. Философ говорил только о человеке и обществе. В его высказываниях нет никакого обращения к богам; нет обращения к справедливости и благочестию, — что появляется позже и может быть обнаружено в диалоге Сократа с Протагором, если верить Платону. И здесь, как можно видеть, человек обращается не к суду, государственным институтам или правительству. Ибо люди тогда, в отношении собственного физического выживания гораздо больше, чем мы, полагались на себя. Об этом говорит Демокрит<sup>23</sup>:

68 (B257)

As to animals in given cases  
of killing and not killing the rule is as follows:  
if an animal does wrong  
or desires to do wrong  
and if a man kill it  
he shall be counted exempt from penalties.  
To perform this promotes well-being  
rather than the reverse.

456. — IV, 2, 15. Относительно дозволенности и запрещения убивать животных дело обстоит следующим образом. Тот, кто убивает животных, приносящих вред или могущих вредить, неповинен, и для общего блага лучше делать это, чем не делать.

3 (B258)

If a thing does injury contrary to right  
it is needful to kill it.  
This covers all cases.  
If a man do so  
he shall increase the portion in which he partakes of right  
and security  
in any [social] order.

53. — IV 2, 16. Должно во что бы то ни стало убивать все, что приносит вред и попирает справедливость. Тот, кто это делает, сохраняет при всяком государственном строе спокойствие духа, право, мужество и имущество скорее, чем тот, кто этого не делает.

5 (B256)

Right is to perform what is needful  
and wrong is to fail to perform what is needful  
and to decline to do so.

320. Зол. изр. 4. Должно препятствовать совершению несправедливого поступка. Если же мы этого не в состоянии сделать, то по крайней мере мы должны не содействовать несправедливому поступку.

<sup>23</sup> Под каждым фрагментом из Демокрита, которые приводит автор, мы поместили близкий русский вариант из переводов с древнегреческого А. О. Маковельского «Фрагменты Демокрита и свидетельства о его учения» (любое издание). — *Прим. перев.*

6 (B261)

If men have wrong done to them  
there is need to avenge them so far as is feasible.  
This should not be passed over.  
This kind of thing is right and also good  
and the other kind of thing is wrong and also bad.<sup>24</sup>

455. — IV 2, 18. Должно быть позволено каждому безнаказанно убивать всякого разбойника или пирата. Это убийство должно остаться безнаказанным, независимо от того, совершено ли оно по собственному желанию, или по наущению, или по решению суда.

*Перевод Владимира Калининко*

<sup>24</sup> Я привожу эти фрагменты в переводе, который Eric A. Havelock опубликовал в своей книге *The Liberal Temper in Greek Politics*. New Haven and London, 1964. Pp. 127–128. Я думаю, что его попытка передать, насколько это возможно, на современном английском смысл этих фрагментов, хорошо удалась. Его перевод, возможно лучше других, позволяет понять тот сдвиг, от Демокрита к Платону и Аристотелю, которые на первое место ставили политическую проблему государственной власти, — что характерно для поздней стадии развития греческого полиса. Поэтому позиция Демокрита не есть нечто, свойственное всей греческой мысли. Но я не могу согласиться с профессором, когда он трактует философию Демокрита как «либеральную». Либерализм как политическая философия предполагает развитую государственную организацию, притом, что она нацелена на предотвращение слишком сильного вмешательства представителей государства в дела индивидуальных его членов. Уверенность индивидуума в своих силах, которую поощряет Демокрит, все же характерна для той стадии общественного развития, когда индивидуум, его семья или социальная группа не могли рассчитывать на эффективную защиту разумной и безличной государственной организации. «Либеральная» идея несовместима с правом или долгом мести, с правом самостоятельного убийства кем бы то ни было своих врагов.